

Веровал, и потому говорил

Тяжелое чувство не покидает меня в эти дни. Маяковскому — сто лет, это надо пережить, в это стоит вдуматься...

Для начала я вижу себя учеником восьмого класса в 1952 году на концерте «мастера художественного слова» Всеволода Аксенова в Доме ученых — великолепный красавец артист в великолепном костюме с великолепным красным галстуком великолепно читает великолепного поэта. Рост. Голос. Пафос. Все, как полагается при чтении Маяковского. И впервые в жизни слышу скандирующий ритм аплодисментов (впоследствии их прозвали «съездовскими»), ладони словно маршируют в воздухе, своей чеканкой напоминая шаг караула на Красной площади. Железный шаг в железный век. А я маленький такой...

Помнится, мне вдруг стало страшно. Находясь в эпицентре овации, ставшей как бы продолжением силового давления стиха на зал, я неожиданно съехался, прекратил аплодировать вместе со всеми и осматриваясь. Неистовство зала, его единство вдруг испугали меня, я вскочил с места и — в проход, затем бегом по лестнице через пять ступенек вылетел на улицу.

С того дня и по сей Маяковский притягивает и отталкивает меня, зовет и гонит, гонит и зовет...

Я хочу его понять и не могу. Чувствуя свою немощность и бессилие перед гигантским многообразием его изъятий, его художественных и человеческих поступков.

Кто он в конце концов? Тот ли черный человек, который, выпятив животик, стоит в цен-

тре Москвы посреди площади на постаменте? И как он туда взобрался, бедный, на такую высоту? И кто его подсаживал?

В шестидесятые около этого черного Маяковского собирались стайками диссидентствующие поэты-бомжи и читали свои стишата — случайно ли?

В девяностые тут митинговали красно-коричневые. Не случайно. Заложить бы динамиту. Дрызны! Ведь, как и он, черт побери, ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую...

Задача художника — видеть в темноте. Маяковский в темноте видел свет и свой гений употребил на то, чтобы воплотить свое видение. Конечно, он был одурочен праздничным революционным беснованием, но дураком от революции его не назовешь. Можно с ужасом сегодня воспринимать его советы «делать жизнь с товарища Дзержинского», но надо понять, что в общей вахханалии тоталитаризма он же первый из первых схватил Сталина за горло, когда вместе с Мейерхольдом вывел на сцену человека с фамилией Победоносиков.

Вопрос о том, что за «баня» устроена была поэтом, можно сказать, на следующий день после «года великого перелома» и «кого она моет» — это вопрос жизни и смерти, глобальный исторический вопрос, хотя и выполненный в жанре агитки. Это был сокрушительный удар по системе, бесчеловечие которой в тот момент уже вовсю выковывалось в собою встречающихся коридорах Крем-

ля и Лубянки. А ведь это была, как точно сказал Мандельштам, «эпоха подневольной театральности, военно-революционной театральной повинности, когда режиссерствовал паек».

После премьеры «Бани» 16 марта 1930 года поэт и месяца не прожил. Роковое утро 14 апреля — и начинаются от выстрела этого стартового пистолета зловещие своей официозной жизнерадостностью тридцатые годы, начинается махровый сталинизм оптимистенко и победоносиковых.

Игра с коммунистическим дьяволом была игрой в кошки-мышки. Хотелось немедленного самоутверждения, хотелось по-раскольничьи топором рубить «старушье время» и при этом спастись «мельчайшую пылинку живога». Заблуждение усугублялось ненавистью к старому эстетизму, под которым понималось все старое — и история, и культура. Желание нанести «пощечину общественному вкусу» совпадало с хамством толпы, в которой действительно «единица — ноль». Ставка на «самоценное (самовитое) Слово» оправдалась лучше всего в глубочайшей любовной лирике Маяковского, не имеющей себе равной в мировой поэзии. Здесь нежность медведя, беззащитность щенка, ранимость «человека просто».

Заполитизировав себя, Маяковский уходит в реальность улицы, на которой возводятся баррикады и плещется красными флагами насилие. Богорчество оборачивается пролитием людской крови. И он находит в себе силы отшатнуться от грядущего хама.

В «Клопе» зафиксировано это страстное неприятие победителя в классовой борьбе: «бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених» — в этой ремарке скрыта вся линия вырождения коммунистической идеи, схема, которая характеризовала и по сей день характеризует красно-коричневых.

Раньше с горящим от счастья глазом Артист громыл со сцены:

**Я пол-отечества мог бы
снести,
а пол — отстроить, умыв.**

Только сейчас до нас доходит, что предлагал Поэт — горбачевскую перестройку? Ельцинскую демократию? Или еще что-то третье?..

Не знаю. Только пол-отечества мы сегодня, извините, уже снесли и это — не поэтическое преувеличение, а реальность, которую надо признать, а вот на счет умывания и воздвижения нового здания-дома на родной земле, что-то пока не тянем.

Пользуясь столетним юбилеем, давайте оттащим Поэта от большевиков, провозгласивших его «своим», и распознаем в нем раскрашенного, в красной маске бойца за нас, за свободу, за наше настоящее. Есть тихий Маяковский, есть поэт, который «кружил поэтической белкой» и действительно «вылизывал чохоткины плевки», и эта стезя роднит его и с Пушкиным, и с Достоевским, и с Толстым.

Он был крылатым идеалистом, хотя Мандельштам мудро говорит, что «как бы для контраста, рядом с Хлебниковым насмешливый гений судьбы поставил Маяковского с его поэзией здорового смысла».

Прав. Иначе не объяснить, почему Пастернак для Усатого был «набожителем». Но ведь и нам не понять, как мог другой мастер разговаривать с Солнцем на «ты» и зажигать звезды («если это кому-нибудь нужно»), жить одиннадцать лет в двенадцатиметровой комнатке в коммунальной квартире. Поистине, кроме «свежевымытой сорочки» поэту нужна была только любовь.

Сегодня там — Музей. «Роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме», мы пытаемся вернуть в наше мирознание могучего лирика, великого драматурга, «не для денег родившегося» авангардиста.

Все думают, что Маяковский застрелился. Нет, это в нем застрелился Треллев, говоривший незадолго до Маяковского, что нужны новые формы. «А если их нет, то лучше ничего не нужно».

Он так же жил в образах Гамлета, Раскольникова и Дон Кихота...

**Быть или не быть,
Вот в чем вопрос.
Достоин ль
Терпеть без ропота позор
судьбы
Иль надо оказать
сопротивленью?
Восстать! Вооружиться!
Победить!**

Он решил «быть», но никогда, слышите, никогда Маяковский не был у Победоносикова лакеем, никогда не числился в доносчиках.

Сегодня пытаются скинуть его с корабля современности, как это он сам манифестировал в отношении старых классиков. Голосом Гамлета Поэт отвечает:

«Вы собираетесь играть на мне? Вы приписываете себе знание моих клапанов? Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны? Вы воображаете, будто все ноты мои снизу доверху вам открыты? Вы думаете, со мной легче, чем с флейтой? Меня можно расстроить, меня можно заставить издавать любой звук, но играть на мне нельзя».

100 лет Маяковскому. И еще будет сто лет, и еще сто...

**Погибнет все.
Сойдет на нет.
И тот,
кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнца последних выжжет.
И только
боль моя
острей —
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.**

Дальнейшее — молчание. И в этой тишине голос Поэта, возманившего о себе и доказавшего, что он — Бог, на том и погибшего, будет слышней и слышней, ибо не исчезнет во век.

Маяковский в начале века изобрел атомную бомбу новой поэзии и подбросил ее в Литературу. До Маяковского литература была другой, и поэзия была не та. И дело не только в том, что отныне стих мог карабкаться и скатываться «лесенкой», и не в том, что с Маяковским пришли новые ритмы и рифмы, ошеломляющие нормальное ухо, и даже дело не в том, что новая музыка ассонансов и диссонансов утвердила себя в красках то альпаватых, то гармоничных. Не в эпатже футур-форм де-

ло, а в том, что эта мегатонная сила страсти обрушилась на мирных в чтении людей и повлекла за собой весь авангард XX века. Без Маяковского в мире не состоялись бы ни Пикассо, ни Брехт, ни Пастернак...

Он создал театр своей личности как зрелище собственной трагедии. После Пушкина и Лермонтова поэты России более не писали гениальных пьес. Только через сто лет их коллега делает сцену местом расположения своего понимания социума, творит драматургию, сплетающую сатиру и боль.

Душа поэта хочет вырваться из пут истории, прославляя будущее как спасение от настоящего. То, что «и жизнь хороша, и жить хорошо» выглядит испуганным самоуверенным, мифическое счастье провозглашается реальностью, и тут поэт уподоблял себя новому Христу, который подражал старому, обращавшемуся к коринфянам: «Я веровал, и потому говорил».

Можно сколько угодно сегодня садистически унижать Прометея, выклеивая из него печень, но огонь его уже никому не удастся украсть. Стих Маяковского прорвет «громе-ду лет», воскресший в новых поколениях, которые увидят в этом безбожнике божественное и простят ему все грехи, как и подобает добрым людям.

Именно теперь Маяковскому нечего терять, кроме своих щепей, на которые мы, почувствовав себя с недавних пор свободными, посадили его.

Зря. Он все равно свободнее нас. Потому что — талантливее.

150